

ВИТА

Проводница вагона — нерасчёсанная блондинка с заспанным лицом, посмотрев билет Глыбина, проворчала: «В нашем... До следующей?»

Поезд, в который садился Глыбин, относился к скорым. Пассажиры его в большинстве своём ехали до Москвы или, в крайнем случае, до Омска, поэтому намерение Глыбина добраться на нём до следующей станции было воспринято хозяйкой вагона как личное оскорбление. И она, сладко зевнув, ушла в служебку, предоставив возможность случайному в этом составе пассажиру устраиваться самому.

В самом конце вагона Глыбин нашёл свободное место. Соседями его оказались: пожилой мужчина, читающий газету на верхней полке, и молодая женщина лет двадцати пяти в длинном бордовом халате, с копной чёрных волос, небрежно заколотых на затылке.

Женщина сидела на нижней полке напротив Глыбина на только что заправленной постели. По всему было видно: в поезд она села недавно. У колен женщины, то и дело оглядываясь на Глыбина, крутится девочка лет четырёх-пяти, уменьшенная копия матери. В живых глазах ребёнка, похожих на две коричневые виноградинки, сквозило любопытство. Оно переполняло девочку и вскоре выплеснулось вопросом.

— Ты куда едешь? — спросила она.

— Нельзя так, — строго говорит ей мать и грозит пальцем, а затем обращается к Глыбину: — Извините нас, пожалуйста.

— Ну что вы, — отвечает Глыбин, — дитя века... У меня такая же дома осталась, может, чуть постарше. Вашей пять?

— Да, — отвечает женщина.

— Пять с половиной, — поправляет девочка мать и повторяет вопрос, изменив форму обращения:

— Куда едешь, дядя?

— В командировку.

— В командировку не ездят, в командировке живут, — назидательно говорит девочка. — Мой папа, например, живёт в командировке.

Женщина вопросительно смотрит на девочку. Так смотрят, когда хотят сказать: «Мы же договаривались...» Но девочка «не замечает» взгляда и произносит:

— Мой папа живёт в командировке уже три года.

— Что-то длинная командировка, — говорит Глыбин, чтобы не выглядеть букой и как-то подержать разговор.

— Ми-нис-тер-ская, — скандируя, отвечает девочка.

Мать опять смотрит на неё, и девочка, умолкнув, взбирается на постель, устраивается так, чтобы крохотные туфельки не касались постельного белья, и продолжает рассказ.

— Мы с мамой живём на Урале, в Свердловске, теперь он иначе называется, а как, я ещё не запомнила. А папа наш живёт в Сибири, а раньше он с нами жил на Урале... Начальники не отпускают его домой, да, мама? И мы ездим к нему сами... Я уже два раза была у него...

— Вита, — укоризненно произносит женщина, — мы же договорились, да и дяде неинтересно.

— Ну что вы, — сказал Глыбин, — пусть говорит.

— Видишь, мама, дяде интересно, дядя в командировке никогда не был, — говорит Вита, продолжая беззаботно болтать, время от времени перебивая разговор мотанием головой и мычанием незнакомой Глыбину мелодии: «Мы-мы, мы-мы... мы-мы, мы-мы».

— Мы с мамой к нему больше не поедem, — говорит она, снова мотая головой из стороны в сторону так, что её маленькие ушки-пельмешки касаются плеч. — Через год он сам к нам приедет... будет с нами жить.

Мать снова смотрит на неё, и она, словно вспомнив что-то, сбрасывает на пол туфельки, вскакивает на ноги и начинает с упоением прыгать по постели, пока мать не делает ей замечание:

— Вита!

После этого Вита вновь усаживается напротив Глыбина.

— Ты сильный? — спрашивает она и, не дожидаясь ответа, говорит: — А мой папа сильный. Он меня одной рукой поднять может. Он меня в общежитии до потолка подбрасывал и на шею катал... Он меня может одним пальцем поднять, одним мизинчиком...

Вита замолкает, словно давая Глыбину прочувствовать глубже своё ничтожество перед её папой, и продолжает:

— А я скоро стану балериной... не скоро, а когда получим новую квартиру и мама меня в студию запишет, — тут она вздыхает и произносит с сожалением — а новую квартиру когда ещё получим, когда мой папа вернётся... А мой папа в лесу работает. Я не видела, как он работает. Когда мы к нему приезжаем, он с нами в общежитии живёт и не работает... целых три дня...

Женщина вновь настораживается, и Глыбин, который давно уже понял, что разговор с ребёнком чем-то неприятен матери, прерывает его.

— Пойду покурю, — говорит он, ни к кому не обращаясь.

Побыв в тамбуре минут десять, некурящий Глыбин перебрался в коридор и встал у окна.

Давно замечено, что вагонные окна имеют притягательную силу. Никто толком ещё не объяснил этого феномена. Люди стоят возле этих окон часами днём, когда за стеклом один за другим меняются пейзажи, и ночью, когда за окнами вообще ничего не разглядеть... Глыбин решил не возвращаться в купе: до его станции осталось ехать меньше часа — можно постоять в коридоре.

В это время из других купе стали появляться заспанные пассажиры. Они шли к умывальникам или в тамбур покурить, или располагались у окон. Всё это делалось неторопливо, с какой-то ленцией: куда спешить людям, у которых впереди несколько суток пути. Только теперь понял Глыбин смысл фразы проводницы о «нашем поезде».

А «наш поезд» мчался в плотной полосе защитных посадок, в основном это были тополя, реже попадались берёзы, а ещё реже — сосны, их коричневатые стволы были голы, и только верхушки венчали островерхие тёмно-зелёные шатры. Глыбин опустил раму, хотя солнце пригревало сквозь стекло, но воздух был ещё прохладен. Он приятно бил в лицо, шевелил волосы...

— Вита, Вита, — слышится предостерегающий голос из последнего купе, потом — детский смех и через секунду рядом с Глыбиным возникает его собеседница в жёлтом платье в горошек, с аккуратно расчёсанной полукруглой чёлкой,

похожей на кокетливую чёлку циркового пони.

Девочка, ухватившись ручонками за перекладину окна, вскакивает на выступ в полу и, дурачась, прижимается лицом к стеклу, расплющив в лепёшку свой нос. Затем (вот оно, женское непостоянство) поворачивает голову и смотрит в спину проходящего по коридору мужчины в пижаме. Проводив его долгим любопытным взглядом, она возвращается к Глыбину.

— А я скоро стану балериной.

— А я это уже знаю, — в тон ей отвечает Глыбин.

— Ничего ты не знаешь. Это я всё знаю. У тебя есть собака?

— Нет.

— А у папы в командировке есть. Я сама видела... большая... на волка похожая. И не одна. Только вот как звать, не знаю... А у дяди Коли тоже собака есть, большая, лохматая, её Найдой зовут. Мама говорит: «У дяди Коли — собака колли». Дядя Коля с мамой в одном цехе работает...

Вита внимательно смотрит на Глыбина, видит, что тот не настроен с ней говорить, и меняет тему:

— А ты знаешь, как я больно умею драться? — говорит она, заглядывая в глаза собеседнику.

— Меня в садике все мальчишки боятся, да-да...

В подтверждение своих слов она спрыгивает с выступа на пол, делает страшную рожицу и начинает самозабвенно махать крохотными кулачками.

Доказав Глыбину «как больно она умеет драться», Вита вновь маленькой обезьянкой повисает на перекладине.

За окном вдоль железной дороги мчит автофургон. Вита поворачивает к Глыбину свою мордашку, и тот догадывается, о чём она спросит.

— А ты можешь кататься на машине? — следует вопрос.

— Нет, — говорит Глыбин, не желая втягиваться в разговор, но девочку это не останавливает.

— А мой папа может, он до аварии шофёром работал... а потом его в командировку забрали... а когда его забрали, я не помню... я тогда, наверное, маленькая была... А мы с мамой квартиру поменяли, и мне в студию будет далеко ездить...

И тут Глыбин всё понял. Ему стало ясно, что за игру затеяли взрослые, чтобы не ранить душу ребёнка, и почему беспокоилась мать, опасаясь, что кто-нибудь, не знающий правил этой игры, может неосторожно открыть глаза девочке.

А Вита между тем продолжает:

— А я у папы опять солдат видела... много, они с ружьями были... Я мальчишкам во дворе говорила, а они не верят. Витька Савкин говорит, что солдаты в командировке не живут, солдаты в армии живут... много он знает...

Девочка на время умолкает, смотрит в окно, а Глыбин оглядывается по сторонам в надежде увидеть её ровесников, чтобы

переключить внимание ребёнка на них. Но в коридоре — одни взрослые, и Глыбин, чтобы не касаться больше разговора о командировке, переводит беседу в другую плоскость.

— А ты скоро будешь балериной? — спрашивает он.

И девочка, не чувствуя подвоха, проглатывает наживку и начинает тархтеть:

— Когда меня мама запишет в студию при Дворце культуры. А моя подружка Таня уже записана туда, но на занятия не ходит, потому что из нашего района туда далеко добираться. А балериной быть трудно, а скоро у неё будет газовое платье и туфли, как называются — забыла.

Во всём этом чувствовались высказывания взрослых, которые девочка воспроизводила почти дословно, но Глыбин слушал «с интересом», чтобы отвлечь Виту от впечатлений, вызванных у неё пребыванием в «командировке».

— А дядя Коля, у которого собака Найда, учился с мамой в техникуме, а баба дядю Колю хвалит, а папу ругает, а Витька Савкин, который «много знает», собирается работать шпионом, когда вырастет...

За окном замелькали конурки дачных домиков — верный признак приближающегося города. Глыбин облегчённо вздыхает: он не нарушил правил игры, установленных взрослыми для Виты, и мог быть доволен собой.

Взяв свой портфель в купе и простившись с женщиной, он вышел в коридор.

Вита всё ещё висела на перекладине.

— Уходишь? — спрашивает она. — Уже?

— Да... приехал, прощай...

— А тебя встречать будут?

— Нет.

— А нас будут... баба нас встречать будет.

После этих слов Вита, опасливо поглядывая на дверь купе, доверительно шепчет Глыбину:

— Баба папу ругает, а меня жалеет... Она думает, что я маленькая и ничего не знаю, а я всё знаю, — заканчивает она хвастливо и на прощанье протягивает собеседнику крохотную ладошку...

Выйдя на перрон, Глыбин, не оглядываясь, пошёл к зданию вокзала.

Но чем дальше он уходил от поезда, тем больше хотелось ему обернуться. У входа в вокзал, словно подчиняясь непреодолимой силе, он оглянулся...

Из окна вагона, расплющив нос о стекло, вслед ему внимательно смотрела симпатичная мордашка с живыми, всё знающими на этой земле глазами, так похожими на две виноградинки.

КРОШКИ

К вечеру ветер изменился и подул со стороны Каспия. Он принёс долгожданную прохладу, запах моря и нефти.

быть, поэтому между окраинными и зареченскими не было особой вражды (отдельные стычки не в счёт). И те, и другие ходили купаться к мосту на песчаные отмели, лазали по торчавшим из воды треугольникам ледоломов, переплывали реку и загорали на противоположной стороне, не считая себя оккупантами и не испытывая холода опасности.

Отец Градова в июле сорок первого ушёл на фронт, и Васька остался в доме единственным мужиком. Потому, наверное, был он без меры самостоятелен и своенравен. В спорах со сверстниками никому не уступал, даже если соперник был сильнее. В заводилах не ходил, но и последним человеком среди зареченской братвы не значился.

С начала войны положение деревенских по сравнению с окраинными ухудшилось. Быт городской окраины в довоенное время мало отличался от сельского. Те же деревянные домики, пригоны, живность: коровы, свиньи, куры; огородики — с непременноми подсолнухами, огурцами, капустой и, конечно, картошкой. С лета же сорок первого всё изменилось. Зареченские пацаны с завистью наблюдали за «райской» жизнью окраинных.

При всём прочем равенстве у тех был хлеб, а колхозники его по карточкам не получали. В других сёлах это никого не удивляло, но они, сидевшие за одними партами с городскими,

глotalи слюну, слушая разговоры об осьмушках и четвертушках, о карточках рабочим, слушающим, иждивенцам.

Пайка чёрного, тяжёлого, пополам с отрубями и жмыхом хлеба окончательно разделила их на городских и деревню, а толстая продавщица окраинного магазина Клавдия с её подручной Шуркой стали для тех и других вторыми после Бога людьми — они делили и продавали хлеб.

Прошла зима. Весной картошку стали приберегать на семена, и с едой стало совсем туго. Самое сильное воспоминание того времени — чувство голода. Это было страшное в своей постоянности ощущение, сосущее, казалось, не только желудок, но и мозг, не покидавшее Ваську ни в школе, ни на улице, ни дома. Оно ложилось с ним спать и с новой силой просыпалось по утрам. Оно не оставляло его даже во сне, распаяя видениями жареной картошки, краюхи хлеба, кружки молока. Оно же заставляло думать и искать выход из положения.

* * *

В ту пору с фронта по ранению вернулся Фёдор. Он приходился дальним родственником Васькиному отцу. Фёдор служил во флоте. В первые месяцы войны был ранен, лежал в госпиталях, где ему ампутировали ноги. После лечения приехал к матери, бабке Харитинье в Заречное.

кулачок и, подойдя к перилам, стала с любопытством смотреть вниз.

А внизу сновали люди, шла торговля соками, кофе, чаем, восточными сладостями; урчали моторы легковых автомобилей, владельцы которых настойчиво предлагали туристкам прокатиться по городу. Как всегда, особым успехом пользовались блондинки. Всё было, как и в других южных городах.

В турпоездку вообще, а в Баку в частности, Градов попал благодаря своей жене.

Весной, как и положено перед пенсией, он отлежал в госпитале, сходил в отпуск и летом был уже отставным. Лето в Сибири короткое: в начале августа — уже ночи холодные, в начале сентября — листья жёлтые. А осенью Градов, оставшийся не у дел, совсем затосковал, заметался...

Жена, видя это, купила ему путёвку по маршруту Махачкала — Баку.

— Езжай, — сказала она, — там сейчас жара, лето продлишь, развеешься, а то сидишь дома, как Илья Муромец. — И чтобы как-то развеселить мужа, добавила: — Да смотри у меня, не закрути там с какой-нибудь хохотушкой, ты у меня мужчина вон какой видный.

Градов ехать согласился, но не ради того, чтобы развеяться. Он не хотел, чтобы жена видела его в таком состоянии.

— Отлично, — думал бывший военком, — переморщимся

недельку, другую подальше от внимательных глаз, а там, может, и полегчает. Время всё вылетит...

Женщина, насмотревшись на суету внизу, ушла в номер, а Градов вернулся в сорок второй...

* * *

Голодная жизнь и военная безотцовщина сделали Васькиных одноклассников по-взрослому рассудительными и хозяйственными.

Один из зареченских, Сашка Мищенко — мальчишка с карими плутоватыми глазами, косою чёлкой, писклявым голосом и задатками менялы — рассказал ему, как несколько раз покупал в лавке хлеб.

Мищенко давно подбирался к Ваське, точнее, к его гюйсу, но не имея ничего для равноценного обмена, «готовил» его к обмену грабительскому...

— Запросто, — пищал он, — и без всяких там карточек...

Неожиданное появление военного корабля на их речке вызвало бы у Васьки меньше удивления, чем заявление Сашки. Хлеб!.. Сашка-колхозник покупал хлеб. И Сашка, поняв, что переборщил, дал задний ход. Ну, не совсем хлеб, конечно, — крошки. Понял? Когда Клавдия с Шуркой хлеб режут — крошки остаются. Они потом их на вес продают, без карточек. Крошки — это тот же хлеб... только не оформленный, — закончил он, повернув слово, подслушанное, наверное, у эвакуированных.

Что ж тут непонятного? Крошки — это хлеб. Однако в лавку идти страшновато. Украинные бабы и ребята постарше рядом с хлебом становились законниками ужасными: «Вам не положено», — и всё тут. А за попытку получить неположенную пайку можно было и по шее схлопотать.

Но хитрец Сашка «великодушно» разъяснил, как нужно покупать крошки. «Ты приходи позже и стань в конец очереди. Бабы, когда им не мешают, на чужих не смотрят... а тебе всё одно ждать, пока хлеб разберут. Клавдия с Шуркой крошки продают, когда хлеб кончится. Понял?»

На следующий день Васька, с подобающей мужчине и добытчику степенностью, попросил у матери денег на хлеб. Та насторожилась, и было от чего. Озорник он был, и мать боялась, чтобы сын не попал в какую-нибудь нечистую историю.

— Ты что удумал, — сказала она. — С жульём связался, с базарными спекулянтами?

Васька выслушал её спокойно и только потом объяснил всё, приврав для верности, что договорился с Шуркой о покупке крошек. Скажи он матери, что договорился с Клавдией, — она не поверила бы. Клавдия не тот человек, чтобы опускаться до разговоров с мелюзгой. А так всё выглядело правдоподобно, и мать, чуть посомневавшись, дала ему несколько измятых трёшек.

Назавтра, зажав деньги в кулак, Васька пошёл за мост, но чем ближе он подходил к лавке, тем сильнее хотелось вернуться. Однако он дошёл и стал в конец не длинной уже очереди, стараясь не встречаться взглядами с женщинами, знающими всё и всех.

Сашка был прав. На него никто не обращал внимания. Да и верно: кому нужен мальчишка, стоящий в очереди последним?

Васька старался не думать о хлебе. Ему казалось, что даже мысли о предстоящей покупке выдадут его с головой, и он гнал их от хлеба, от магазинчика, думая о матери, которая ждёт его, о Фёдоре, которому похвастается покупкой. Он даже представил себе, как Фёдор скажет в ответ: «Молодец, браток, матери помогать надо».

О таком способе добычи хлеба Васька мог смело ему рассказать. Тут всё законно, он в чужой карман не залез, не обменял тайком от матери вещи на продукты, не выиграл в чиху наконец. Знал Васька, что Фёдор не любит «мудрых» людей, живущих за счёт других. Эта черта в его характере действовала благотворно и на Ваську, что было нелишне при его задирности, упрямом характере, а также близости городской окраины и базара...

* * *

О базаре разговор особый. Располагался он за механическим заводом и представлял собой два

крытых деревянных торговых рядов и дощатый павильон для торговли продуктами.

Если смотреть на этот огороженный забором базарный мир «невооружённым» глазом, то можно было видеть довольно ленивый обмен вещей на продукты, торговлю кустарными изделиями и мечтой ребятишек — ржаными лепёшками. Но если взглянуть на базар внимательно, то просматривалась иная жизнь, в которой находилось место и для ребятни Васькиного возраста, чего особенно боялась его мать.

В той жизни у окраинных сверстников были другие ценности. Там считалось удачей украсть или отобрать у слабого карточки, надуть товарища, подсунув ему при обмене порченную вещь, а потом похвалиться этим, хлопая себя по ушам и приговаривая: «Не будь дураком, не будь лопоухим». Там можно было сыграть в чику, пристенок, орлянку. Там куском лепёшки загоняли в долги, заставляя должника красть у родителей вещи или отрабатывать жратву, стоя на стрёме...

В этой второй ипостаси базарной жизни существовала чёткая возрастная иерархия.

Первая ступень в ней — Васькин возраст, третья — взрослые. Они для вида торговали ерундой: гнутыми гвоздями, зажигалками, а на самом деле обжуживали простаков в карты

либо промышляли по-крупному — воровали.

Подростки в этой «структуре» занимали промежуточное положение. Они эксплуатировали и обирали представителей первой ступени и были на побегушках у третьей...

Из взрослых обитателей базара Васька знал только Блатяка. Так его звали деревенские, а в базарном мире у него была другая кличка, не такая громкая. Родом Блатяк был из зареченских. Бабка Харитинья говорила, что он припадочный и поэтому его не призывают в армию. Может, это было и так, но Васька запомнил другое.

Мосластый, с длинными, по колено, руками, Блатяк, никогда не служивший в армии, «косил» под фронтовика. Носил сапоги, солдатскую шапку, шинель комсоставовского сукна. Днями он толкался на базаре, торговал лепёшками, а на самом деле играл в тройку и был наводчиком у воров.

У Блатяка имелся на базаре свой уголок, где он был полным хозяином. Там всегда толпились желающие обыграть его, а сам он, сидя на одном ящике, перекидывал на другом трёх тузов, один из которых был красной масти. «Красная играет, красная получает, — гнусавил он при этом, — а кто глаза пучит, тот ни хрена не получит». Угадать место красной карты удавалось редко кому, и Блатяк выигрывал.

В апреле того же года он стал захаживать к Фёдору. Точнее, зашёл один раз, посидел, поговорил — как-никак росли в одной деревне. Через день появился снова, с бутылкой.

В тот день Васька шёл в гости к Фёдору. Блатяка встретил во дворе дома бабки Харитиньи. Один клапан его армейской шапки был оторван, губы в крови, на лице непривычный для его наглой физиономии испуг. Столкнувшись с Васькой, Блатяк придал своему лицу выражение, соответствующее его рангу в базарном мире, и прогнусавил: «Ну, погоди, мореман...»

В избе не было живого места, казалось, что уцелела только керосиновая лампа, подвешенная к матице на цепочке. Харитинья, крестясь и вздрагивая, пыталась навести порядок. Фёдор был возбуждён, играл желваками. Васька понял, что ему не стоило заходить в дом, и, промямлив что-то, ушёл...

Вечером к матери пришла бабка Харитинья и рассказала обо всём.

Оказывается, Блатяк приходил к ним неспроста. Он предложил Фёдору стать компаньоном. Блатяк в воровском мире был сязкой и выбрать напарника среди сообщников не решался — внакладе останешься, обдерут как липку. Вот и остановил свой выбор на друге детства, рассудив на свой аршин: деваться некуда, жрать что-то надо — пойдёт.

Фёдору Блатяк обещал золотые горы, а главное — говорил, что у него есть кореш-профессор из эвакуированных. Тот хоть и без диплома, а такие протезы смастрячит, лучше ног будут. Беда только, очередь к профессору большая и деньги он любит.

Блатяк был человек деловой и много времени на обработку будущего напарника тратить не стал. Со второго захода приступил к делу — принялся втолковывать Фёдору секреты игры в карты с подсадным партнёром.

Тот выслушал его и мрачно сказал:

— Не понял.

— Ты чё, море, непонятливый такой? Котелок вроде большой, а не варит, — засуетился Блатяк, не чувствуя грозы, и начал объяснять второй раз, но закончить не успел...

— Хорошо, что Федя без ног, — причитала бабка, — а то б убил Блатяка, наверное, и как только тот вырвался...

Харитинья плакала и приговаривала, мол, Фёдор пропадёт... Мать её успокаивала, а Васька не мог понять, почему «хорошо, что у Фёдора нет ног» и почему он должен «пропасть»: убить его не могут, фронт далеко... и всё страшное для него позади...

* * *

Щёлкнул замок двери. Потянуло сквозняком.

— Входная открылась, — подумал Градов и не ошибся. На пороге возник сосед по номеру

Коля Шевцов. Коля — земляк Градова, шустрый мальёк двадцати четырёх лет, помещавшийся на колонках, кассетниках и прочих вещах, бывшему военному понятных.

— Семёныч, — сказал Шевцов, — пойдём на набережную, послушаем в последний раз, как тёплые волны плещут, завтра домой, а у нас, говорят, уже заморозки по ночам.

— Нет, — ответил Градов, — я находился сегодня.

— А где ты был? — спросил Коля. — В магазинах, наверное? Наушники к стерео не встречал?

На этот раз Градов не ответил. За тринадцать дней путешествия он изучил Шевцова. Ему ответишь — не рад будешь, на твой ответ он тут же двадцать новых вопросов задаст.

Градов действительно ходил по магазинам. Присматривал подарок жене. Было до одури жарко, но он упрямо обходил все магазины и лавочки, пока наконец не приобрёл блестящие, в прямом и переносном смысле, комнатные тапочки с загнутыми носками.

Ближе к вечеру, чтобы попасть на другую сторону улицы, он спустился в подземный переход. Там возле кафельной стены на засаленной кошме сидел рыжий мужик без ног и пропитым голосом гнусавил:

— Подайте, граждане хорошие, фронтовику-подводнику, здоровье в боях за Родину потерявшему.

Мужику было от силы лет сорок. От него несло потом и перегаром. Поток по-летнему одетых людей, чуть сторонясь его, двигался без остановок по переходу.

— Подайте фронтовику-подводнику, в боях за Родину пострадавшему, — продолжал рыжий.

И столько искренности было в его словах и одновременно столько безысходности, что не поверить ему было нельзя.

Градов, как обухом оглушённый, остановился... опустил руку в карман и бросил горсть мелочи в перевёрнутую кепку...

— Спасибо, браток, — сказал рыжий и только здесь сфальшивил, хитро скосив глаза на кепку.

Градова передёрнуло, он двинулся дальше, а рыжий, видимо, давно поверивший сам в то, о чём он всем неоднократно рассказывал, заорал вслед обиженно:

— Да фронтовик я, браток, подводник, — и, словно подтверждая это, запел хрипло:

*Под толстым покровом
холодной воды
Подводная лодка лежала...*

— Семёныч, ты где? — это Шевцов тронул Градова за плечо. — Наушники, говорю, к стерео не встречал?.. А то ребята из группы в «Баки» купили, клёвые... с красными поролоновыми шариками, и самое интересное — наши они, бердские, а у нас их днём с огнём не сыщешь... а?

Градов опять не ответил, и Шевцов от него отстал. Он покопался в своих вещах, что-то переложил, что-то достал, сказал: «Я отчаливаю... буду поздно... Слышь, буду поздно», — и направился к выходу. Щёлкнул замок, и Градов остался один.

* * *

...До прилавка с весами оставалось человек семь, и в это время в магазин принесло Даму, так звали мать девчонок-близнецов Аллы и Риммы, учившихся с Васькой в одном классе.

Дама появилась в городе осенью сорок первого с эвакуированными. Муж её был каким-то комендантом, а она, видно, нигде не работала, так как часто бывала в школе и других местах, с пацанячьей точки зрения, не рабочих. Дама знала Ваську как одного из самых озорных мальчишек класса, в котором учились её девочки. Знала она и то, что он деревенский.

Дама была непохожа на женщин городской окраины: стройная, черноволосая, с чёткими линиями изогнутых бровей, огромными глазами, она могла бы прослыть красавицей, если бы не скверный характер и брезгливое высокомерие, которым она одаривала окружающих.

И одеждой Дама выделялась среди окраинных. В тёплое время года носила тёмные шерстяные платья с закрытым воротом — это придавало ей официальный,

начальственный вид. Зимой ходила в пальто с воротником из чернобурки. Ваську почему-то всегда смущал этот зверёк, пушистый, чёрный с серебришкой, хвост которого соседствовал на высокой груди Дамы с тощей мордочкой, смотрящей на мир пустыми глазницами.

В то время слово «комендант» звучало намного твёрже, чем теперь. Женщины в очереди при появлении Дамы приумолкли, а та, скользя по ним равнодушным взглядом, увидела Ваську. Выражение её лица сразу изменилось — то ли ей не захотелось стоять в очереди, где на одного человека больше, то ли сказались её скверный характер и желание всё переделывать на свой лад, Васька не знал.

— А ты что тут делаешь? — спросила Дама. — Своё хозяйство имеешь и к куску горожан подбираешься...

То, чего больше всего боялся Васька, свершилось. Он знал, что будет дальше, и двинулся к выходу, стараясь проскочить побыстрее мимо Дамы, но та была начеку. Ловко, будто всю жизнь только этим и занималась, она поймала Ваську за ухо и вытолкнула за дверь. А за углом лавки добровольный помощник, из тех, кто всегда лягает упавших, дал ему на дорожку крепкого леща.

Чувство обиды привело Ваську в заросли едва зазеленевшего тальника, и там, вдали от людских глаз, он дал волю слезам.

Спустя час он успокоился, тщательно смыл водой следы своей слабости и поплёлся домой. Дома, вернув деньги матери, сказал, что Клавдии запретили продавать крошки, а в школе объявил войну близнецам...

В классе никто не знал истинных причин Васькиной нелюбви к этим девчонкам. Однако все были с ним солидарны. Близнецов не любили за отчуждённость, за странные, как всем казалось, имена, чистоту и опрятность, белые бантики и всезнайство.

Война, которую вёл Васька, была тайной... Он постоянно досаждал близнецам: обмакивал в чернильницу их бантики, крепко связывал их косички, доводил девчонок до слёз, бросая в них кусочками берёсты... выбрасывал из (единственного в классе) портфеля учебники и тетрадки, когда близнецы выходили в коридор на перемене. Но вершиной Васькиной изобретательности стал уж, обнаруженный однажды близнецами в портфеле и едва не сделавший их заиками...

Учительница Любовь Борисовна пыталась найти зачинщика травли, но наткнулась на стену детской круговой поруки.

Прошла неделя, другая... Васька вошёл во вкус. На него, как на человека, играющего с опасностью (родителей близнецов побаивались), с уважением посматривали сверстники, и это нравилось.

Но в конце концов тайное стало явным. Любовь Борисовна

узнала обо всём, и Васька, как принято сейчас говорить, имел с ней беседу воспитательного характера. После этого история травли близнецов стала известна матери, и она высекла его отцовским ремнём, не захотев даже выслушать.

Всё это озлобило Ваську вконец, и он с отчаянием обречённого продолжал преследовать девчонок. Всё сходило ему с рук, и только позже узнал он, почему. Близнецы ни о чём не говорили дома. Они стойко несли свой крест...

Как-то, возвращаясь из школы, налетел Васька на бабушку Харитинью. «Куда ты запропастился? — сказала та. — Федя тебя спрашивал, забыл ты его совсем».

Васька, не заходя домой, помчался к Фёдору. А тот без вступлений:

— Слышал я, что какой-то салага в школе эвакуированных обижает, а мать твоя говорит, что и ты в этом участвуешь. Я ей: быть этого не может. Васька хоть и пацан ещё, но в душе мужик и слабых обижать не станет. Так она не верит... Ясно дело... баба. Я-то в тебя верю. Ты это... того, заступись за них, им, наверное, несладко-то среди чужих живётся, да и ответить они местным не могут, а таких обижать, браток, — последнее дело. Ты, как будущий моряк, должен об этом знать...

Так закончилась Васькина месть...

«Да, — подумал Градов, — куда бы занесло меня, упрямого, озлобившегося мальчишку? К какому берегу прибило, как, в конце концов, сложилась бы моя жизнь, если б не было его — безногого моряка Фёдора, который мог бы обидеться на людей, озлобиться и подталкивать к этому других, однако он остался человеком несмотря ни на что».

Трудная судьба у таких людей.

Стал Фёдор к осени покашливать, к зиме пожелтел, на правой щеке его расцвёл алый цветок, верный признак туберкулёза.

— Зачах совсем, — жаловалась матери бабка Харитинья, — хоть бы до лета дотянул, а там, глядишь, и... осилит хворь.

Но до лета Фёдор не дожил... Схоронили его весной бабы с Митричем и забыли быстрее обычного. Помогли этому похоронки, продолжавшие приходить в деревню до самого конца войны...

Да что говорить, на фоне тысяч смертей на фронте кончина Фёдора не очень тронула односельчан. Некоторые даже завидовали Харитинье: «Твой дома лежит, а наши где?»

...Два года назад Градов был проездом в Заречном. Впрочем, Заречного сейчас нет. В знакомой излучине расположился незнакомый Градову совхоз, выращивающий овощи для города.

Нет и в помине деревянного моста через реку, на этом месте

появился железобетонный его преемник.

Нет окраинных домиков, базара, лавки... Их места заняла вторая очередь завода, в десятки раз крупнее первой. Поэтому завод дошёл до реки и даже перешагнул её: два корпуса экспериментальной лаборатории разместились на бывшей колхозной земле, на самом высоком месте...

Из знакомых в деревне никого не осталось, если не считать Блатяка, который, по слухам, доживает свой век у родственников.

В центре села стоит стела с орденом Великой Отечественной войны и плита с фамилиями погибших односельчан. Но фамилии Фёдора там нет (и ему ли, бывшему военному, не знать, почему). Нет в селе и его могилы: корпуса экспериментальной лаборатории стоят на месте бывшего деревенского кладбища, где похоронены Фёдор и Харитинья, пережившая сына на год...

Давно затих вестибюль. Реже стал поток машин на проспекте. Погасли огни огромного здания напротив гостиницы, и оно стало похоже на сказочный дворец Аладдина, чудом выросший в ночи в самом центре современного города. Ветер стал дуть зло, порывисто.

Градов всё ещё сидел в кресле.

Щёлкнул замок входной двери. Потянуло сквозняком. Пришёл Шевцов. Было поздно.